



Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича

(рассказанные им самим)

Глава сорок шестая

Школа сомнения

И Ленин тоже...

В институтской многотиражке «Народный учитель» я печатал много чепухи, в том числе несколько стихотворений о Ленине. Я уже говорил, что к Ленину в отличие от Сталина в то время относился, можно сказать, никак, и это меня тревожило. Я, всю жизнь занимавшийся самообразованием, сам себя очень не одобрял, когда думал: что же это такое, почему я не вижу в жизни того хорошего, что видят другие? И Сталин мне не нравится, и Хрущев, и советская власть, но Ленин-то... Столько людей, умных, образованных и вовсе как будто не ортодоксов, говорят, что Ленин очень хороший, а по Маяковскому так даже «самый человечный из всех прошедших по земле людей». Сколько раз я слышал, что если бы Ленин был жив, то все было бы не так, все было бы хорошо. Уже и коммунизм давно был бы построен. Относясь с уважением к уму и образованию, я еще не понимал, что это далеко не одно и то же. Я потом открывал для себя с большим удивлением, что многим людям образование вообще не прибавляет ума. Наоборот, они, засорив свои головы разными догмами, от образования глупеют больше необразованных. И способности, даже выдающиеся, к усвоению разных наук тоже не делают человека умным. Ум — это здравомыслие, которое может быть у малограмотного крестьянина и у ученого человека, но среди тех и других встречается одинаково редко...

Много слыша про то, что Ленин образованный и умный, и поверив, что он хороший, я надеялся возбудить в себе любовь к нему. Потому и писал о нем стихи, но они получались неискренние — чувства никакого не возникало. Вскоре, вникнув опять в некоторые его тексты, я вообще в хорошесть его усомнился, продолжая, впрочем, сомневаться в себе. Читая его записки, что надо кому-то «дать дров», а кого-то «поставить к стенке», я думал, что про дрова — это, может быть, серьезно, а к стенке поставить — в каком-то фигуральном смысле. Но пару лет спустя я понял, что нет, очень даже не в фигуральном. В разговоре с моим старшим другом Камилем Икрамовым, когда мы, гуляя по Москве, уже многое для себя выяснили, я спросил:

— Хорошо, со Сталиным мы разобрались. Ну а Ленин...

Камил улыбнулся и сказал:

— Ну, конечно.

Больше стихов о Ленине я не писал.

Мой друг, враг народа

Несколько раз в коридорах нашего института я встречал этого странного человека. Пожилой, высокий, в темно-синем суконном пальто с серым каракулевым воротником и в такой же серой папаше, в роговых очках с очень толстыми стеклами, азиатской внешности, он был не похож ни на студентов, ни на преподавателей, по виду скорее всего какой-нибудь партийный босс. Я его каждый раз замечал (его нельзя было не заметить) и даже пытался, но не мог представить себе, что бы мог такой человек делать в нашем третьестепенном институте. И вдруг однажды не только я, а и он заметил меня. Остановил в коридоре, ткнул в меня пальцем:

— Вы Войнович?

Я согласился, что я — это я, ожидая, что мне сейчас от какой-нибудь инстанции будет за что-нибудь нагоняй.

Он, широко размахнувшись, протянул мне руку:

— Поздравляю!

Я удивился:

— С чем?

— В «Народном учителе» ваши стихи?

— Мои.

— Замечательные стихи! Особенно про Матросова. — И он стал читать на память: «Плевать на бессмертье. Бессмертия нету. Все смертны: герои, вожди и поэты. Того, кто погиб, не заменят портреты, ни книги любых тиражей, ни газеты. Бессмертье... Имей мы такое устройство, любое героство тогда не геройство...». — И дальше — там что про Матросова? «Морщин-



ГЕННАДИЙ НОВИЛОВ

Много слыша про то, что Ленин образованный и умный, и поверив, что он хороший, я надеялся возбудить в себе любовь к нему. Потому писал о нем стихи, но они получались неискренние — чувства никакого не возникало. Вскоре, вникнув в некоторые его тексты, я вообще в хорошесть его усомнился, продолжая, впрочем, сомневаться в себе...

ки еще не изрезали кожу. Такой же, как я, или даже моложе. И если возможно судить по портрету, то в нем ничего и геройского нету...» Может быть, «нету» звучит коряво. Правильнее сказать «нет». Может быть, как-нибудь так: «И если, допустим, взглянуть в портрет, так в нем ничего и геройского нет». Впрочем, это не так уж важно, у вас разговорная интонация. А главное, мне нравится, что в вашем герое нет самоуверенности, которая свойственна нашим поэтам. То есть вначале ваш герой говорит: «Но, если придется, мы сможем...» И тут же останавливается. Он не может честно ответить на задаваемый вопрос. И поэтому он сам себе задает вопрос встречный: «Смогу ли, не веря в бессмертье, рвануться под пули?..»

— Вы преподаватель? — спросил я робко.

— Я? — Он засмеялся. — Вам кажется, я похож на преподавателя?

Я смутился. Наверное, он все-таки какой-нибудь очень большой начальник. Может быть, из Министерства просвещения, а то... тут я и сам перепугался своего предположения... а то даже и сам министр.

— Я, — сказал он, — такой же студент, как и вы.

— Вы? Студент? — удивился я. — Такой...

Я хотел сказать: «такой старый» и запнулся. Он мне помог.

— Ну да, — сказал он, улыбаясь. — Я выгляжу солидно, хотя мне... А вы где живете?

Я сказал, что рядом, в пяти минутах ходьбы.

— Идемте, я вас провожу.

— Так вот, — сказал он, когда мы вышли наружу. — Меня зовут Камил, фамилия моя Икрамов, вы ее, конечно, никогда не слышали.

— Вообще-то слышал, — сказал я. — В Узбекистане был когда-то первый секретарь компартии. Его расстреляли вместе с Бухариным. Однофамилец?

— Отец, — сказал мой попутчик и рассказал о себе.

Оказалось, ему всего 30 лет, а выглядит он старше, потому что слишком рано пришлось повзрослеть. Ему было десять лет, когда отца расстреляли, а мать оказалась в лагере. Самого его арестовали в четырнадцать лет, и еще четырнадцать он провел за колючей проволокой.

— Вы не можете себе представить, какой я был худой, когда вышел из лагеря. А теперь получил компенсацию и пенсию до окончания института. Вот немного отъелся, размордел...

Через некоторое время Камил мне сказал, что тоже кое-что пишет, но высказал о себе мнение, которое показалось мне странным: — Как писатель я говно, но фразу строить умею. Вот у меня есть очерк, который я начал словами: «В полдень в Джалпактубе тополя почти не дают тени».

Он произнес с такой артикуляцией, что мне правда показалось: это здорово!

— Содержание у меня там, конечно, примитивное, об узбечке, которая долго держится за мусульманские ритуалы, но постепенно прозревает. Но ведь важно не только, что написано, а как, и тут уж я в своей стихии. Что-то, а вкус у меня есть. Вот ты послушай, — перешел он вдруг на «ты». — «Между тем жизнь в округе заметно менялась, и это было видно даже сквозь паранджу...».

Нельзя ориентироваться на детские вкусы

Тут я вспомнил, что надо позвонить в журнал «Пионер», где лежало мое длинное стихотворение о мальчике, мечтавшем попасть на Марс. «...Он на станцию приходит, он к одной из касс подходит: «Я хотел спросить у вас, как попасть...» — «Куда?» — «На Марс.» — «Марс... так-так... ответим мигом... Марс...» — пошарили по книгам... Выражают удивление, отвечают с сожалением: «Нет подобных городов в расписании движения пассажирских поездов. Обратитесь в пароходство». В пароходстве с превосходством говорят: «Корабль не поезд. Ходят наши корабли на экватор, и на полюс, и во все края земли. Марс, возможно, на болоте, то есть там, где никогда парохода не найдете. Может, надо в самолете добираться вам туда...»

Завотделом литературы Бенедикту Сарнову стихи понравились, он обещал их напечатать, но, когда очередной номер журнала вышел и я его купил, моей публикации там не было.

Мы остановились у телефона-автомата, Камил дал мне монетку.

Я набрал номер. В этот момент какой-то человек подошел к будке и стал ждать своей очереди.

Сарнов снял трубку. Я сказал ему: «Добрый день».

— Добрый, — ответил он. Уже тогда манера отвечать на приветствие одним прилагательным входила в моду. — Вы хотите узнать, почему мы не напечатали ваши стихи?

— Ну да, — сказал я. — Может, вы их перенесли в следующий номер?

— Я сейчас соединю вас с главным редактором Натальей Владимировной Ильиной, и она вам все скажет. Минутку. Передаю трубку...

После этого было долгое молчание и какие-то шорохи. Человек, стоявший у будки, постучал в стекло монетой. В трубке зачирикал тоненький голос.

— Здравствуйте, очень рада вас слышать. Вы написали интересные стихи, мы их все в редакции читали, а потом я даже носила их своим внукам.

— И что говорят ваши внуки?

— А знаете, им понравилось. Даже очень.

— Значит, вы будете стихи печатать?

— Нет, нет, — сказала она, — печатать, конечно, не будем.

— Почему же не будете? Если вашим внукам понравилось.

Человек, стоявший у будки, постучал в стекло еще раз. Камил приблизился к нему, что-то сказал. Тот посмотрел на Камилу удивленно, махнул рукой и быстро пошел прочь, оглядываясь и пожимая плечами. Это отвлело меня от разговора, и я не разобрал последней фразы главной редакторши.

— Что? Что?! — переспросил я.

— Я говорю, — повторила она сердито, — что моим внукам понравилось, но мы же не можем ориентироваться на детские вкусы. Всего доброго.

Когда я пересказал Камилу свой разговор с Ильиной, он громко захохотал.

— Извини, — сказал он. — Я понимаю, что ты очень расстроен, но это в самом деле смешно, когда говорят, что детский журнал не может ориентироваться на детские вкусы.

Мне смешно не было. У меня не только публикация не состоялась, но и лопнули надежды на гонорар, довольно приличный.

— А зачем ты прогнал этого человека? — спросил я.

— Я его не прогонял, — сказал Камил. — Я ему сказал: «Вы напрасно торопите этого молодого человека. Он скоро станет очень знаменитым поэтом, и вы сможете гордиться, что были свидетелем важного телефонного разговора». Я ему так сказал, а он почему-то испугался и убежал. Может быть, решил, что мы с тобой сумасшедшие.

Тут мы оба стали весело смеяться — и с этого началась наша дружба.

Продолжение следует

21

№8
(1886)

20
января
2006

РОМАН И ГАЗЕТА

НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Войнович Владимир

20.01.06